МИХАИЛ БУЛГАКОВ И РОССИЯ

● ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-й СТР.

Провал, образовавшийся на месте России, — трагическая составляющая мироощущения Булгакова 1920 года. В этом он близок к графоману-полковнику, к любому заурядному подданному прежней империи. Россия и есть, и ее нет. В Крыму еще Врангель, воюют с большевиками младшие братья Булгакова (и Булгаков, видимо, знал об этом). Остается какая-то надежда на военную удачу, на разгром большевиков: Черное море и обе столицы как бы придвинулись друг к другу...

С приходом во Владикавказ советской власти Булгаков автоматически переходил из России в РСФСР.

Надеялся ли он на победу белых? Быть может, уже не верил, но еще надеялся. В ноябре 1920 года, с эвакуацией белых из Крыма, эта надежда кончилась. Началась тяжелая неизвестность — он не знал, живы ли младшие братья, не знал, удастся ли уехать за границу самому. Попытка не удалась. Он решил ехать в Москву.

К тому времени Киев — его родина — был для него опустелым городом: только мать, к которой заехал он на три дня по дороге (и это была их последняя встреча), еще привязывала его к нему. Переезд в столицу был естественным шагом.

Он знал, что едет жить под победителями.

Ему, еще недавно полноправному подданному Российской империи, предстояло учиться этому трудному ремеслу. Статья 7 конституции, принятой 10 июля 1918 года, гласила: «Эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти» («эксплуататором» мог быть назван любой человек из образованного слоя, поскольку едва ли не каждый до революции держал прислугу). Зато статья 20 объявляла, что «исходя из солидарности трудящихся всех наций» РСФСР «предоставляет **все политические права** российских граждан иностранцам, проживающим на территории Российской республики для трудовых занятий».

В 1922 году Булгаков начал печататься в берлинской газете «Накануне», обращенной к русским эмигрантам (и тайно субсидируемой советским правительством). Он понимал сомнительную подоплеку газеты, но именно выступление на ее страницах дало в эти годы ощущение отечественной почвы под ногами — обращение от первого лица (устойчивая фельетонная традиция) к русскому заграничному читателю неизбежно формировало повествовательно-идеологическую позицию человека, находящегося **у себя дома**.

В его фельетонах в «Накануне» появились выражения «Советская Русь», «русский человек», «Россия»—и не лишенная полемичности вера в ее будущее: «Фридрихштрасской уверенности, что Россия прикончилась, я не разделяю, и даже больше того: по мере того как я наблюдаю московский калейдоскоп, во мне рождается предчувствие, что «все образуется» и мы еще можем пожить довольно славно», и дразнящее читателя-эмигранта как бы отождествление автора с большевиками: «Вот она какая история, товарищи берлинцы. А вы говорите «bolscheviki», «bolscheviki»! Люблю порядок» («Столица в блокноте», 1 марта 1923 года). Тут многозначительна транслитерация. Это того же самого рода провоцирующее отождествление, что у Мышлаевского в последней главе «Белой гвардии», где он залихватски говорит о том, что, пожалуй, лучше будет, если в Киев войдут наконец большевики — «по крайней мере сразу поотвинчивают нам всем головы. <...>. **Зато на русском языке».** 6 июля 1923 года Булгаков печатает очерк «Киев-город». Автор видит в современном Киеве «великую усталость после страшных громыхающих лет» и слышит «трепет новой жизни». Конец очерка почти бравурен — и недвусмысленно включает родной город автора в границы будущей России, как бы возвращающейся в границы России прежней (Украины Гоголя, но не Петлюры).

Резкие и едкие слова в том же очерке о польской кампании 1920 года («Наши же европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр. <...> А, поляки, поляки... Ай, яй, яй!.. Спасибо сердечное скажет вам русский народ») — тоже знак национального самоотождествления и некая ретроспекция самоотождествления государственного. Это близко к диалогам русских эмигрантов в романе Ю. Н. Потехина «Люди заката» (1925), впоследствии прочитанном Булгаковым: «Ваши поляки мерзавцы. Когда надо было поддержать Деникина, чтобы вместе с большевиками покончить, так они пальцем не двинули, ведь в ста верстах от Киева стояли, ничего не стоило сомкнуть фронт».

К осени 1923 года начинают таять надежды на экономическую свободу и некоторую деидеологизацию жизни. Но тема России еще присутствует в фельетонах для «Накануне» 1923—1924 годов в подчеркнуто литературном ключе. Заканчивая очерк о сельскохозяйственной выставке в Нескучном саду в Москве, в сентябре 1923 года Булгаков описывал, как на сцене, «став полукругом, десять клинобородых владимирских рожечников высвистывают на длинных деревянных самодельных дудках старинные русские песни. <...> встают перед глазами туманные поля, избы с лучинами, тихие заводи, **сосновые суровые леса.** И на душе не то печаль от этих дудок, не то какая-то неясная надежда. Обрывают дудки, обрывается мечта». Здесь уже знакомые читателю Булгакова литературные «леса» из Мельникова-Печерского; литературен и слегка олеографичен весь пейзаж, который через год будет повторен в развернутом виде в повести «Роковые яйца».

Не случайны слова «обрывается мечта» в финале очерка о выставке. Перед этим, в последней главке, появляется многозначительная фигура «профессора-агронома», который в публичном диспуте «доказывал, что нам в настоящий момент трактор не нужен». Возражают «скептику» оратор «в солдатской шинелишке и картузе» и «куцая куртка», советующая «профессору, ежели ему не нравится в России, которая желает иметь тракторы, удалиться в какое-нибудь другое место, например, в Париж». Председатель диспута «страстно говорит о фантазерах <...>

— А он не фэнтазер?

И рукой невольно указывает туда, где в сумеречном цветнике на щите стоит огромный Ленин».

Профессор и куцая куртка — тревожащий прообраз пары, которая всего через год возникнет в повести «Роковые яйца»: профессор Персиков и Рокк, — где фантастический сюжет укажет на уже забрезживший впереди реальный зловещий исход деятельности «фэнтазеров» в России.

В 1923 году Булгаков пишет рассказ «Китайская история»; его тему спустя три года он развернет в пьесе «Зойкина квартира». Полемика направлена в два адреса — в сторону евразийства (для Булгакова Россия, конечно, тяготеет и должна тяготеть к Западу) и интернационалистских идей.

«Загадочный ходя» из «Китайской истории» «пролетел, как сухой листик, несколько тысяч верст и оказался на берегу реки под изгрызенной зубчатой стеной» (ср. в дневнике Булгакова 23 декабря 1924 года: «Для меня всегда наслаждение видеть Кремль. Утешил меня Кремль. Он мутноватый. Сейчас зимний день. Он всегда мне мил»). Рядом со стеной течет «дьявольски холодная, чужая река. Позади ходи была пустая трамвайная линия, перед ходей — ноздреватый гранит»...

Старый китаец упорядочивает для молодого новый, неведомый ему и потому хаотический мир: пунктиром диалогических реплик он рисует МИФОЛОГИЧЕСКУЮ ТОПОГРАФИЮ современной Москвы — центра Новой России: «Ленин — есть. Самый главный очень есть. Буржуи — нет, о, нет! Зато Красная Армия есть. Много — есть. Музыка? Да, да. Музыка, потому что Ленин. В башне с часами — сиди, сиди. За башней? За башней — Красная Армия».

Менее чем через год Булгаков пишет очерк «Часы жизни и смерти» — о прощании с Лениным. Очерк начат и закончен ЧАСАМИ (на Спасской башне), как бы продолжающими «ленинский» мотив «Китайской истории». Повествование бесстрастно и безоценочно. Личное отношение автора к описываемому им факту, казалось бы, отсутствует.

Довольно стертый тон повествования мешал до сих пор обратить внимание на одно загадочное место очерка: «Все ясно. К этому гробу будут ходить четыре дня по лютому морозу в Москве, **а потом в течение веков по дальним караванным дорогам желтых пустынь земного шара, там, где некогда, еще при рождении человечества, над его колыбелью ходила бессменная звезда».** Кажется, говоря словами автора очерка, «все ясно». По-видимому, это та самая звезда: «И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, **как наконец пришла и остановилась над местом,** где был Младенец» (Матф., 2; 9), — звезда, по которой волхвы нашли младенца Иисуса.

О «новых волхвах» не раз говорила поэзия двадцатых годов. Случайно сохранившееся (опубликованное только в 1970 году) стихотворение Мандельштама 1920 года «Где ночь бросает якоря...» со строками «Вам чужд и странен Вифлеем, И яслей вы не увидали» современный исследователь, вопреки уже сложившейся традиции, справедливо, по-видимому, переадресовывает от «красных» к «белым», резонно замечая, что «подобный упрек по адресу заведомых атеистов был бы бессодержателен и приобретает смысл, будучи адресован тем, кого автор считает плохими христианами» (Е. Тоддес. «Поэтическая идеология». «Литературное обозрение», № 3, 1991).

Булгаков, по нашему предположению, свидетельствует, что отношение к Ленину радикально сменило — и не только в России! — христианские, а может быть, и иные религиозные представления, при этом надстроившись над ними, их же и использовав — как строительный материал. Это стало вехой.

Тому ощущению полного конца мира прежней России, которое проступает в очерках 1923—1924 годов, соответствует и повествовательная позиция автора в дневнике Булгакова — довольно безнадежная по отношению к будущему этой страны, уже совершенно отстраненная по отношению к государству, на территории которого он живет: «Интересно было бы знать, сколько времени «Союз социалистических республик» просуществует в таком положении» (6 августа 1924 г.); англичане, «хоть и с опозданием, но все же начинают соображать о том, что в Москве <...> таится некая весьма грозная опасность разложения Британии. Теперь очередь французов» («В ночь с 20 на 21 декабря», 1924 г.).

1925 год стал рубежным — наступило время ностальгии по России, исчезнувшей с лица земли. Это станет темой новой (а ранняя — 1916—1918 годов — осталась нам неизвестной) редакции «Записок юного врача». В 1925—1926 годах предрезолюционная Россия рисовалась автору как страна с вполне стабильной социальной жизнью, с ясно определенной в ней ролью образованного слоя. «Собачье сердце» покажет бесповоротное (если исключить фантастическую возможность обратной трансформации шариковых) разрушение этой роли в стране, образующейся на месте России.

Одновременно пишется пьеса «Белая гвардия». В последнем акте, накануне вступления в Киев большевиков, идет спор между героями. Студзинский говорит: «Россия кончена», Алексей Турбин ему отвечает: «...пусть они хлынут, потопят, но пусть наново устроят, но ничего не устроят, кроме России. Она — всегда она. <...> Значит, надо сидеть в ней и терпеливо ждать. **Студзинский.** Доктор, будет ли когда-нибудь она? **Алексей.** Будьте покойны, капитан. Не будет прежней, новая будет. А за границу? Что ж там делать?» И, будто заклиная самого себя, повторяет трижды: «Я не поеду. Я не поеду! Я не поеду! Буду здесь, в России, и будь с ней, что будет!»

Весной 1926 года в жизни Булгакова произошло событие большой биографической важности — при обыске забрали его дневники. Много лет спустя, в конце 60-х, В. М. Молотов сказал одному из своих посетителей, А. М. Ушакову: «Дневники Булгакова читало все Политбюро». Началось с реплики Молотова: «Ваш Булгаков — антисоветчик!» Аргументом стали дневники. На вопрос — а что там было антисоветского? — он припомнил: «Да вот пишет о Кремле и тут же — вот что сделали с ним большевики!..»

Крайне характерно, что ЛИЧНОЕ отношение к Кремлю (до которого постепенно сжимается для Булгакова Россия) воспринимается как выпад против большевиков! Слова Молотова А. М. Ушаков передал мне зимой 1982—1983 годов. Стало ясно, что дневники для членов Политбюро каким-то путем размножали — в виде машинописи или фотокопий, не передавали же они друг другу рукописные тетрадки! Впервые появилась надежда — возможно, в недрах Лубянки что-то уцелело? Размышляя, кто бы мог помочь в столь щекотливом деле, я обратилась к Е. М. Богату. Он слушал меня внимательно, заинтересованно и с какой-то тревогой: весь сюжет ему, опытному человеку, явно казался опасным. Тем не менее он обещал этим делом заняться, но настойчиво предостерег: «Я вам советую никому больше об этом не рассказывать».

Это был 1983 год. В 1985 году Е. Богат умер. Я не знаю, сумел ли он предпринять что-либо. Спустя всего несколько лет, в 1989 году, преемники ГПУ сами отыскали у себя сделанную в этих стенах копию выдержек из дневника Булгакова и передали ее в ЦГАЛИ.

Булгаков если и не знал всего круга самовольных читателей своего интимного текста, то мог по крайней мере уверенно предполагать — теперь его «политический портрет» известен в Кремле.

Это был новый аспект взаимоотношений Булгакова с советской властью — можно сказать, и новый фон последующих поступков и самого творчества. Его необходимо учитывать. (Через несколько лет в письме правительству, где открытость и определенная откровенность обусловлена, на наш взгляд, именно фактом предполагаемого знакомства адресатов с дневником, Булгаков попытается скорректировать их прежние впечатления: «Мой литературный портрет закончен, и он же есть политический портрет. <...> я прошу об одном: за пределами его не искать ничего». Это прямая отсылка к дневнику, который он предлагает считать перекрытым.)

В первые месяцы 1927 года (юбилейного — готовились отмечать десятую годовщину Октября), в разгар газетной кампании против «Дней Турбиных», появились печатные сообщения о том, что Булгаков обещает вскоре дать МХАТу «пьесу, рисующую эпизоды борьбы за Перекоп из гражданской войны». Пьеса «Бег» была написана в 1927—1928 годах и осталась непоставленной.

В сентябре 1933 года в ответ на бесцеремонную реплику А. Афиногенова автор «Бега» скажет: «Это вовсе пьеса не об эмигрантах, и вы совсем не об этой пьесе говорите».

И «Дни Турбиных», и «Бег» говорили о сидящих в зале и о самом авторе — об их прошлом, о **случившемся** с ними, об их — по большей части невольном или полуневольном — выборе. Странная роль агитатора за «возвращение» (в последующих редакциях — 1933 и 1937 годов — резко переиначенная: героев ждет уже не родина, а только вечное изгнание или смерть) тесно переплетена с совсем иными мотивами: «У меня родины более нету! Ты мне ее проиграл!» (слова Чарноты, обращенные к Хлудову).

Пьеса завершала, как нам представляется, анализ катастрофы, разразившейся в России, и подводила черту под случившимся: «Я хочу все забыть, хочу сделать так, как будто ничего не было!» Тема России, неразрывно связанная с ее прошлым и с событиями 1917—1920 годов, была исчерпана. Автор и его читатели жили в иной стране.

В 1928 году Булгаков начал писать свой второй роман — об этой **другой стране,** о современности.

Летом он поехал в Одессу и с дороги писал жене: «Еду благополучно, и доволен, что вижу Украину. <...> Питаюсь чаем и видами»; «Как тянет земля, на которой человек родился».

Весной 1929 года были сняты с репертуара все его пьесы, и в июле он подал заявление властям. Зная, что «ни печататься, ни ставиться более в пределах СССР» ему нельзя, он просил «об изгнании» его «за пределы СССР». Это уже не взгляд из **своей** страны на обитателей Фридрихштрассе — это мироощущение человека, находящегося «в пределах СССР». Он просит Горького поддержать его ходатайство о том, чтобы покинуть эти пределы: «Зачем держать писателя в стране, где его произведения не могут существовать? Прошу о гуманной резолюции — отпустить меня» (3 сентября 1929 года). И еще раз: «...Зачем задерживают в СССР писателя, произведения которого существовать в СССР не могут? Чтобы обречь его на гибель?» (28 сентября 1929 года).

В эту осень он начинает пьесу уже не о прошлой и не о современной России и судьбе ее сограждан, а о Франции эпохи Людовика XIV. В центре пьесы — личность вне национальных характеристик в тисках мощных социальных структур. После ее запрещения Булгаков пишет новое письмо правительству. Оно сегодня широко известно. Вглядимся пристальней только в некоторые из строк: «Вот одна из черт **моего** творчества... бесчисленные уродства **НАШЕГО** быта, яд, которым пропитан **мой** язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в **моей** отсталой стране... изображение страшных черт **моего** народа...»

Моя страна и мой народ — столь же личное, почти столь же интимное, как мое творчество и мой язык (общий с моим народом). Но «наш» быт — не мой, а общий, советский.

В письме правительству Булгаков утверждал свою непрерывающуюся ЛИЧНУЮ связь с этой страной (как с Кремлем) — по праву рождения, которое никто не в силах отменить, — и ЛИЧНУЮ за нее ответственность — вперекор уже очевидной реальности. «Моя страна» и «мой народ» — это историческая данность. Сегодняшняя страна — уже внеположна по отношению к прежней России и к нему самому. Автобиографическое послание «Тайному другу» (1929) подвело черту под художественным освоением той исчезнувшей страны — в том числе и под ностальгией по ней.

Теперь его помыслы обращены к тому, чтобы хоть на какое-то время выбраться за «пределы СССР» — увидеть мир. Всегда равнодушный к изображению пейзажа (что необычно для писателя, столь прочно связанного с русской литературной традицией), теперь он фиксирует в своих письмах как бы антипейзаж страны, оказавшейся на месте России: «С отвращением любуюсь пейзажами. Солнце. Гуси» (жене—по пути в Крым: «15 июля 1930 г. Под Курском»); «Ездил на 12 дней в г. Зубцов, купался и писал. Не умею я отдыхать в провинции. Ах и тусклая же скука там, прости господи! Коровы какие-то ходят! Куры. Но кур, впрочем, люблю. Против кур ничего не имею...» (письмо П. Маркову конца июля 1931 года).

В письме от 30 мая 1931 года, обращенном уже лично к Сталину, он пробует заново изложить непроясненное в мартовском письме 1930 года и затушеванное из-за «припадка нежданной, налетевшей как обморок робости» (письмо П. С. Попову от 14 апреля 1932 года) в телефонном разговоре в апреле 1930-го: «...Все граждане беспартийные и партийные внушали и внушили мне, что <...> до конца моей жизни я никогда не увижу других стран. Если это так — мне закрыт горизонт, у меня отнята высшая писательская школа, я лишен возможности решить для себя громадные вопросы».

В письме — неприкрытый ужас и отчаяние человека, ощутившего себя на части суши, неожиданно превратившейся в остров: оторвавшись от континента мирового сообщества, он уплывал в историческое небытие.

Судорожное последнее усилие любой ценой перескочить расширяющуюся промоину видно во фразе, продиктованной отчаянием и близкой к некоторым строчкам последних стихотворений Мандельштама (мы не знаем, правда, доподлинного текста отправленного Сталину письма — сохранившаяся в архиве писателя копия дефектна): «Как воспою мою страну — СССР?» Напомним, что ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМ он пишет пьесу «Адам и Ева», где речь пошла уже не о России, а о новосозданном обществе — мощной структуре, где одни люди уверены в безграничности своей власти не только над жизнью, но над мыслями других, где именно общее гражданство СССР дает им такую возможность. Герой пьесы профессор Ефросимов — великий изобретатель — ощущает себя не гражданином какой-либо страны, а гражданином мира. Его интеллект должен служить благу всего человечества... Когда в марте 1981 года я читала большие фрагменты из не опубликованной в то время пьесы «Адам и Ева» в зимней школе физиков-теоретиков страны в Усть-Нарве, в зале воцарилась звенящая тишина: ни у кого из присутствовавших не было сомнений в том, что Ефросимов — литературный прообраз реального академика А. Д. Сахарова, уже год пребывавшего к тому времени в ссылке. По безмолвному уговору между докладчиком и залом это чтение шло в его честь.

«Я исступленно хочу видеть хоть на краткий срок иные страны. Я встаю с этой мыслью и с нею засыпаю» (письмо Вересаеву от 26 июля 1931 года).

Ужас становившейся все более необратимой интеллектуальной и эмоциональной изоляции в «одной отдельно взятой стране» на долгие годы окрасит его жизнь, его мысли и замыслы.

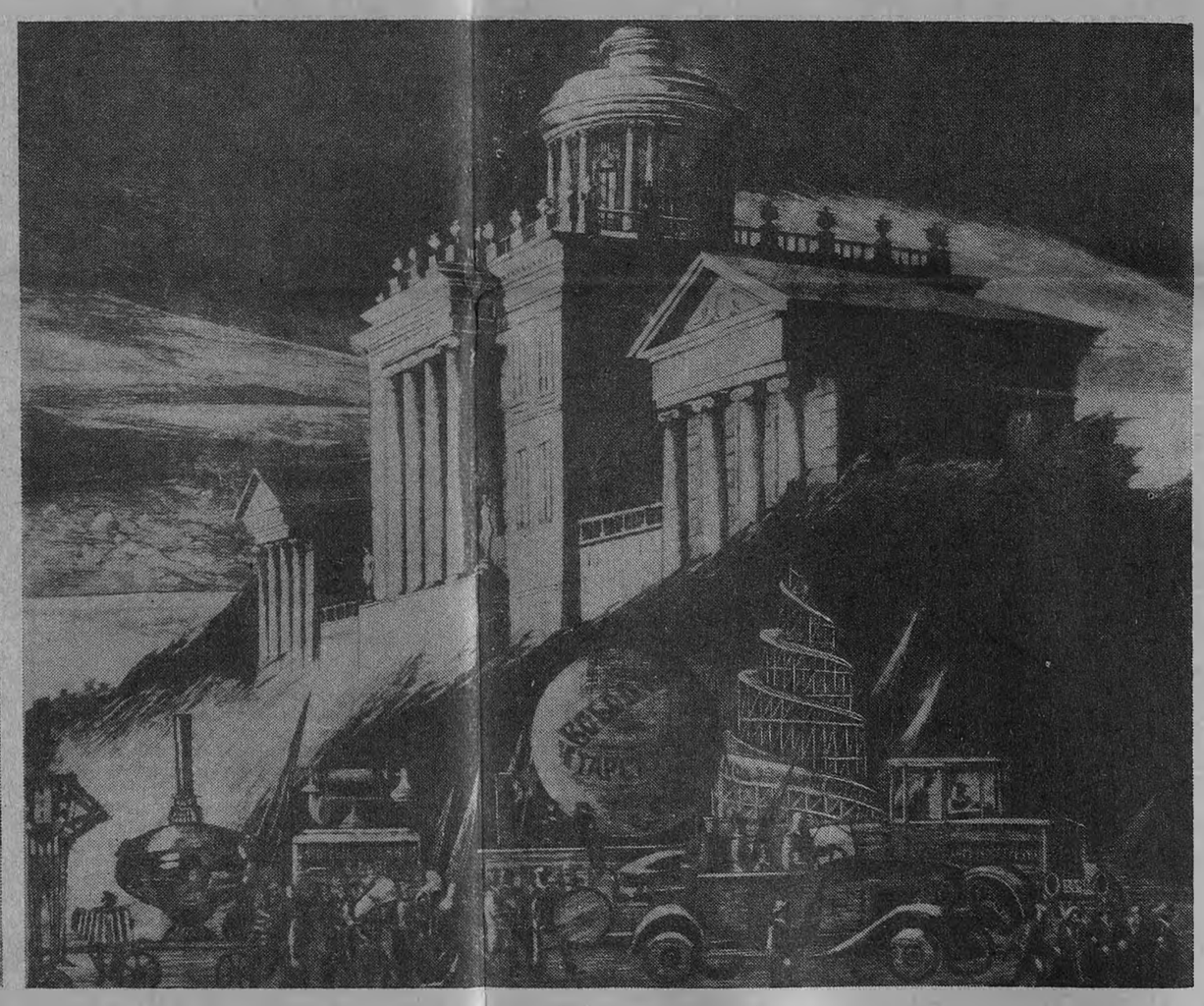
То национальное самоотождествление, которое в первой половине 20-х годов двигало его оценками украинцев, поляков и «товарищей берлинцев», к началу 30-х полностью растворено в совсем ином самоотождествлении. Человек в мире и мировой истории, художник перед лицом временной власти и вечности — вот какие оппозиции движут пером автора «Мастера и Маргариты». Но параллельно этому ощущение изоляции страны, с одной стороны, а с другой — тяжелый замах начавшегося формирования официозной «истории СССР» вновь толкают Булгакова к историческим темам — он напишет пьесу о Пушкине, начнет работать над курсом истории, возьмется за либретто о Петре, о Минине и Пожарском. Но все это уже никуда не идет. Если весной 1923 года герой-рассказчик фельетона «Сорок сороков» мечтает о том, как он летом поднимется «на Воробьевы, туда, откуда глядел Наполеон», и посмотрит, «как горят сорок сороков на семи холмах, как дышит, блестит Москва. Москва—мать», — то десятью годами позже, на страницах романа «Мастер и Маргарита», начнется **прощание** с этой Москвой. Она уже не мать — скорее, мачеха герою романа, подчеркнуто близкому автору. Как голос хора, звучат слова свиты Воланда: «Мессир, мне больше нравится Рим».

То сложное чувство, с которым Мастер покидает Москву, — свидетельство неверия автора в будущее этого города на протяжении отмеренных сроков человеческой жизни. Размышления об истории страны сменились мыслью о вечности и о судьбе личности.

Маргарита и Мастер уже лишены какой-либо национальной характеристики, каких бы то ни было связей со страной своего рождения.

Приснившаяся Маргарите неизвестная местность — «безнадежная, унылая, под пасмурным небом ранней весны <...> бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик, под ним мутная весенняя речонка. Безрадостные. нищенские полуголые деревья» — это «образы России», запечатленные русскими живописцами, и они же — небытие ссылки, в которое проваливаются один за другим ее жители. Это и есть то, что образовалось на месте страны, над судьбой которой он так настойчиво размышлял полтора десятилетия назад. «Вот адское место для живого человека!».

...Работая в последний год своей жизни над «Батумом», Булгаков знал, что вслед за пьесой на стол Сталину — при удаче! — ляжет роман «Мастер и Маргарита». Сегодняшние комментаторы пьесы (в собрании сочинений писателя) напрасно, на наш взгляд, отыскивают в ней скрытую конфронтацию со Сталиным. Вынужденность пьесы очевидна, и она не столько в том, на мой взгляд, что Булгаков пишет о Сталине (хотя никакими находками хитроумных уколов Сталину, будто бы заложенных в пьесе, нельзя перешибить, увы, той **радости** персонажей возвращению Сталина, которая господствует в пьесе, писавшейся в 1939 году), а в том, что он пишет о **революционере** и сочувственно изображает теперь «революционный процесс в моей отсталой стране»... Риск заключен был совсем не в «Батуме», а в «Мастере и Маргарите». В пьесе Булгаков **приучал** Сталина к тому, что он является той мощной силой, родственной симпатичному дьяволу, которая единовластно царствует в этом земном, отвергнувшем христианство мире. Страшный намек заключен был в романе (а не в пьесе) — Воланд отправляет на тот свет не только «плохих», но и **«хороших»** — тех, которым тут, в сем мире, в котором сам же он и властвует, помочь уже невозможно— структура этого мира не позволяет больше таких изолированных действий!

Внечеловеческая мощь Сталина противопоставлена в пьесе и романе слишком слабому для **этого** мира Иешуа и столь же слабой фигуре последнего монарха, слабостью своей погубившего монархию и виновного, таким образом, по суровому, порожденному многолетним отчаянием приговору Булгакова, в исчезновении его России с лица земли и карты мира.

Стрелка на часах Кремлевской башни, которые «никогда не останавливаются» («Часы жизни и смерти», 1924), остановлена. Когда она возобновит свой ход? В эпилоге «Мастера и Маргариты», где физически ощутима остановка времени, ответ на этот вопрос вынесен за пределы сколько-нибудь реального предвидения. Мир без Воланда и Мастера — пролог к новому и неведомому времени. В самом изображении этого провала истории было заключено усилие автора, толкающее к созиданию.